

АНТОН  
ЧЕХОВ



Остров Сахалин  
Очерки  
Путевые записки



МОСКВА

УДК 821.161.1-43  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44  
Ч-56

Оформление серии *Н. Ярусовой*

**Чехов, Антон Павлович.**  
**Ч-56** Остров Сахалин : очерки, путевые записки / Антон Чехов. — Москва : Эксмо, 2025. — 512 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).

ISBN 978-5-04-190918-5

В 1890 году Антон Павлович Чехов, в порыве гражданского чувства и желая вырваться из наскучившего быта, отправился на Сахалин, куда в те времена ссылали каторжников.

В результате трехмесячного путешествия на свет появилась одноименная книга, в которую вошли как заметки о погоде, флоре, фауне и легендах острова, так и бескомпромиссное описание жуткого арестантского быта.

Книга произвела настолько большой резонанс в обществе, что Главное тюремное управление и Министерство юстиции отправили на Сахалин специальную комиссию, которая подтвердила правдивость слов писателя и инициировала преобразования в области ссылки и каторги в Российской империи конца XIX века.

В состав этого издания входят также очерки «Из Сибири» и рассказы, затрагивающие криминальные и судебские темы.

УДК 821.161.1-43  
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-04-190918-5 © Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025

Из Сибири



## Из Сибири

### I

— Отчего у вас в Сибири так холодно?

— Богу так угодно! — отвечает возница.

Да, уже май, в России зеленеют леса и заливаются солончак, на юге давно уже цветут акация и сирень, а здесь, по дороге от Тюмени до Томска, земля бурая, леса голые, на озерах матовый лед, на берегах и в оврагах лежит еще снег...

Зато никогда в жизни не видал я такого множества дичи. Я вижу, как дикие утки ходят по полю, как плавают они в лужах и придорожных канавах, как вспархивают почти у самого возка и лениво летят в березняк. Среди тишины вдруг раздается знакомый мелодический звук, глядишь вверх и видишь невысоко над головой пару журавлей, и почему-то становится грустно. Вот пролетели дикие гуси, пронеслась вереница белых как снег, красивых лебедей... Стонут всюду кулики, плачут чайки...

Обгоняем две кибитки и толпу мужиков и баб. Это переселенцы.

— Из какой губернии?

— Из Курской.

Позади всех плетется мужик, не похожий на других. У него бритый подбородок, седые усы и какой-то непонятный клапан позади на сермяге; под мышками две скрипки, завернутые в платки. Не нужно спрашивать, кто он и откуда у него эти скрипки. Непутевый, не степенный, хворый, чув-

ствительный к холоду, равнодушный к водочке, робкий, всю свою жизнь прожил он лишним, ненужным человеком сначала у отца, потом у брата. Его не отделяли, не женили... Нестоящий человек! На работе он зябнул, хмелел от двух рюмок, болтал зря и умел только играть на скрипке да возиться с ребятами на печке. Играл он и в кабаке, и на свадьбах, и в поле, и ах как играл! Но вот брат продал избу, скот и все хозяйство и идет с семьей в далекую Сибирь. И бобыль тоже идет — деваться некуда. Берет он с собой и обе скрипки... А когда придет на место, станет он зябнуть от сибирского холода, зачахнет и умрет тихо, молча, так что никто не заметит, а его скрипки, заставлявшие когда-то родную деревню и веселиться и грустить, пойдут за двугривенный чужаку-писарю или ссыльному, ребята чужака оборвут струны, сломают кобылки, нальют в нутро воды... Вернись, дядя!

Переселенцев я видел еще, когда плыл на пароходе по Каме. Помнится мне мужик лет сорока с русой бородой; он сидит на скамье на пароходе; у ног его мешки с домашним скарбом, на мешках лежат дети в лапотках и жмутся от холодного, резкого ветра, дующего с пустынного берега Камы. Лицо его выражает: «Я уже смирился». В глазах ирония, но эта ирония устремлена вовнутрь, на свою душу, на всю прошедшую жизнь, которая так жестоко обманула.

— Хуже не будет! — говорит он и улыбается одной только верхней губой.

В ответ ему молчишь и ни о чем не спрашиваешь, но через минуту он повторяет:

— Хуже не будет!

— Будет хуже! — говорит с другой скамьи какой-то рыжий мужичонко-переселенец с острым взглядом. — Будет хуже!

Эти, что плетутся теперь по дороге около своих кибиток, молчат. Лица серьезные, сосредоточенные... Я гляжу на них и думаю: порвать навсегда с жизнью, которая кажется ненормальной, пожертвовать для этого родным краем и родным гнездом может только необыкновенный человек, герой...

Затем, немного погодя, мы обгоняем этап. Звеня кандалами, идут по дороге 30–40 арестантов, по сторонам их солдаты с ружьями, а позади — две подводы. Один арестант похож на армянского священника, другого, высокого, с орлиным носом и с большим лбом, я как будто видел где-то в аптеке за прилавком, у третьего — бледное, истощенное и серьезное лицо, как у монаха-постника. Не успеваешь оглядеть всех. Арестанты и солдаты выбились из сил: дорога плоха, нет мочи идти... До деревни, где они будут ночевать, осталось еще десять верст. А когда придут в деревню, наскоро закусят, напьются кирпичного чаю и тотчас же повалятся спать, и тотчас же их облепят клопы — злейший, непобедимый враг тех, кто изнемог и кому страстно хочется спать.

Вечером земля начинает промерзать и грязь обращается в кочки. Возок прыгает, грохочет и визжит на разные голоса. Холодно! Ни жилья, ни встречных... Ничто не шевелится в темном воздухе, не издает ни звука, и только слышно, как стучит возок о мерзлую землю да, когда закуриваешь папиросу, около дороги с шумом вспархивают разбуженные огнем две-три утки...

Подъезжаем к реке. Надо переправляться на ту сторону на пароме. На берегу ни души.

— Уплыли на ту сторону, язви их душу! — говорит возница. — Давай, ваше благородие, реветь.

Кричать от боли, плакать, звать на помощь, вообще звать — здесь значит реветь, и потому в Сибири ревут не только медведи, но и воробьи и мыши. «Попалась кошке — и ревет», — говорят про мышь.

Начинаем реветь. Река широкая, в потемках не видно того берега... От речной сырости стынут ноги, потом все тело... Ревем мы полчаса, час, а парома все нет. Надоедают скоро и вода, и звезды, которыми усыпано небо, и эта тяжелая, гробовая тишина. От скуки разговариваю я с дедом и узнаю от него, что женился он 16 лет, что у него было 18 детей, из которых умерло только трое, что у него живы еще отец и мать; отец и мать — «киржаки», то есть раскольники, не курят и за всю свою жизнь не видали ни одного горо-

да, кроме Ишима, а он, дед, как молодой человек, позволяет себе побаловаться — курить. Узнаю от него, что в этой темной, суровой реке водятся стерляди, нельмы, налимы, щуки, но что ловить их некому и нечем.

Но вот наконец слышится мерный плеск, и на реке показывается что-то неуклюжее, темное. Это паром. Он имеет вид небольшой баржи; на нем человек пять гребцов, и их два длинных весла с широкими лопастями похожи на рачы клешни.

Пристав к берегу, гребцы первым делом начинают браниться. Бранятся они со злобой, без всякой причины, очевидно спросонок. Слушая их отборную ругань, можно подумать, что не только у моего возницы, у лошадей и у них самих, но и у воды, у парома и у весел есть матери. Самая мягкая и безобидная брань у гребцов — это «чтоб тебя уязвило» или «язвина тебе в рот!». Какая здесь желается язва, я не понял, хотя и расспрашивал. Я в полушубке, больших сапогах и в шапке; в потемках не видно, что я «ваше благородие», и один из гребцов кричит мне хриплым голосом:

— Эй ты, язва, что стоишь, рот разинул? Отпрягай пристяжную!

Въезжаем на паром. Перевозчики, бранясь, берутся за весла. Это не местные крестьяне, а ссыльные, присланные сюда по приговорам обществ за порочную жизнь. В деревне, где они приписаны, им не живется — скучно, пахать землю не умеют или отвыкли, да и не мила чужая земля, и пошли они сюда на перевоз. Лица у них испытые, истасканные, битые. А какие выражения на лицах! Видно, что эти люди, пока плыли сюда на арестантских баржах, скованные попарно наручниками, и пока шли этапом по тракту, ночуя в избах, где их тело невыносимо жгли клопы, одеревенели до мозга костей; а теперь, болтаясь день и ночь в холодной воде и не видя ничего, кроме голых берегов, навсегда утратили все тепло, какое имели, и осталось у них в жизни только одно: водка, девка, девка, водка... на этом свете они уже не люди, а звери, а по мнению деда, моего возницы, и на том свете им будет худо: пойдут за грехи в ад.

## II

Из большого села Абатского (375 верст от Тюмени), в ночь под 6-е мая, везет меня старик лет 60; незадолго перед тем, как запрягать, он парился в бане и ставил себе кровососные банки. Для чего банки? Говорит, что поясница болит. Он боек не по летам, подвижен, словоохотлив, но ходит нехорошо: кажется, у него спинная сухотка.

Я сажу в высоком, некрытом тарантасике, везет пара. Старик помахивает кнутом и покрикивает, но уж не кричит по-прежнему, а только кряхтит или стонет, как египетский голубь.

По сторонам дороги и вдали на горизонте змееобразные огни: это горит прошлогодняя трава, которую здесь нарочно поджигают. Она сыра и туго поддается огню, и потому огненные змеи ползут медленно, то разрываясь на части, то потухая, то опять вспыхивая. Огни искрятся, и над каждым из них белое облако дыма. Красиво, когда огонь вдруг охватит высокую траву: огненный столб вышиною в сажень поднимается над землей, бросит от себя к небу большой клуб дыма и тотчас же падает, точно проваливается сквозь землю. Еще красивее, когда змейки ползают в березняке; весь лес освещен насквозь, белые стволы отчетливо видны, тени от березок переливаются со световыми пятнами. Немножко жутко от такой иллюминации.

Навстречу во весь дух, гремя по кочкам, несется почтовая тройка. Старик спешит свернуть вправо, и тотчас же мимо нас пролетает громадная, тяжелая почтовая телега, в которой сидит обратный ямщик. Но вот слышится новый гром: несется навстречу другая тройка и тоже во весь дух. Мы торопимся свернуть вправо, но, к великому моему недоумению и страху, тройка сворачивает почему-то не вправо, а влево и прямо летит на нас. А что, если столкнемся? Едва я успеваю задать себе этот вопрос, как раздается треск, наша пара и почтовая тройка мешаются в одну темную массу, тарантас становится на дыбы и я падаю на землю, а на меня все мои чемоданы и узлы... Пока я, ошеломленный, лежу

на земле, мне слышно, что несется третья тройка. Ну, думаю, эта наверное убьет меня. Но, слава богу, я ничего не сломал себе, ушибся не больно и могу встать с земли. Вскрываю, отбегаю в сторону и кричу не своим голосом:

— Стой! Стой!

Со дна пустой почтовой телеги поднимается фигура, берется за вожжи, и третья тройка останавливается почти у самых моих вещей.

Минуты две проходят в молчании. Какое-то тупое недоумение, точно все мы никак не можем понять того, что произошло. Оглобли сломаны, сбруи порваны, дуги с колокольчиками валяются на земле, лошади тяжело дышат; они тоже ошеломлены и, кажется, больно ушиблены. Старик, кряхтя и охая, поднимается с земли; первые две тройки возвращаются, подъезжает еще четвертая тройка, потом пятая...

Затем начинается неистовая ругань.

— Чтоб тебя уязвило! — кричит ямщик, столкнувшийся с нами. — Язвина тебе в рот! Где у тебя глаза были, старая собака?

— А кто виноват? — кричит плачущим голосом старик. — Ты виноват, да ты же и ругаешься?

Как можно понять из ругани, причиною столкновения было следующее. Ехало в Абатское пять обратных троек, возивших почту; по закону обратные ямщики должны ехать шагом, но передний ямщик, соскучившись и желая скорее попасть в тепло, погнался на лошадей во весь дух, в задних же четырех телегах ямщики спали и некому было править тройками; за первую во весь дух побежали и остальные четыре. Если бы я спал в тарантасе или если бы третья тройка бежала тотчас же за второй, то, конечно, дело не обошлось бы для меня так благополучно.

Ямщики ругаются во все горло, так что их, должно быть, за десять верст слышно. Ругаются нестерпимо. Сколько остроумия, злости и душевной нечистоты потрачено, чтобы придумать эти гадкие слова и фразы, имеющие целью оскорбить и осквернить человека во всем, что ему свято, дорого и любо! Так умеют браниться только сибирские ямщики

и перевозчики, а научились они этому, говорят, у арестантов. Из ямщиков громче и злее всех бранится виноватый.

— Ты не бранись, дурак! — защищается старик.

— А что? — спрашивает виноватый ямщик, мальчишка лет 19, с угрожающим видом подходит к старику и становится лицом к лицу. — А что?

— Ты не очень!

— А что? Отвечай: что же будет? Возьму обломок оглобли, да обломком тебя, язвина!

По тону судя, быть драке. Ночью, перед рассветом, среди этой дикой ругающейся орды, в виду близких и далеких огней, пожирающих траву, но ни на каплю не согревающих холодного ночного воздуха, около этих беспокойных, норовистых лошадей, которые столпились в кучу и ржут, я чувствую такое одиночество, какое трудно описать.

Старик, ворча и высоко поднимая ноги — это он от болезни, — ходит вокруг тарантаса и лошадей и отвязывает, где только можно, веревочки и ремешки, чтобы связать ими сломанную оглоблю, потом он, зажигая спичку за спичкой, ползает на брюхе по дороге и ищет постромку. Идут в дело и мои багажные ремни. Уж занялась заря на востоке, уж давно кричат проснувшиеся дикие гуси, наконец уж уехали ямщики, а мы все еще стоим на дороге и починаемся. Пробовали было ехать дальше, но связанная оглобля — трах!.. и нужно опять стоять... Холодно!

Кое-как шагом доплетаемся до деревни. Останавливаемся около двухэтажной избы.

— Илья Иваныч, кони дома? — кричит старик.

— Дома! — отвечает кто-то глухо за окном.

В избе встречает меня высокий человек в красной рубахе и босой, сонный и чему-то спросонок улыбающийся.

— Клопы одолели, приятель! — говорит он, почесываясь и улыбаясь еще шире. — Нарочно горницу не топим. Когда холодно, они не ходят.

Здесь клопы и тараканы не ползают, а ходят; путешественники не едут, а бегут. Спрашивают: «Куда, ваше благородие, бежишь?» Это значит: «Куда едешь?»

Пока на дворе подмазывают возок и позвякивают колокольчиками, пока одевается Илья Иваныч, который сейчас повезет меня, я отыскиваю в углу удобное местечко, склоняю голову на мешок с чем-то, кажется с зерном, и тотчас же мною овладевает крепкий сон; уж снятся мне моя постель, моя комната, снится, что я сижу у себя дома за столом и рассказываю своим, как моя пара столкнулась с почтовой тройкой, но проходят две-три минуты, и я слышу, как Илья Иваныч дергает меня за рукав и говорит:

— Вставай, приятель, лошади готовы.

Какое издевательство над ленью, над отвращением к холоду, который змейкой пробегает по спине и вдоль и поперек! Опять еду... Уже светло, и золотится перед восходом небо. Дорога, трава в поле и жалкие, молодые березки покрыты изморозью, точно засахарились. Где-то токуют тетерева...

*8-го мая.*

### III

По сибирскому тракту, от Тюмени до Томска, нет ни поселков, ни хуторов, а одни только большие села, отстоящие одно от другого на 20, 25 и даже на 40 верст. Усадеб по дороге не встречается, так как помещиков здесь нет; не увидите вы ни фабрик, ни мельниц, ни постоянных дворов... Единственное, что по пути напоминает о человеке, это телеграфные проволоки, завывающие под ветер, да верстовые столбы.

В каждом селе — церковь, а иногда и две; есть и школы, тоже, кажется, во всех селах. Избы деревянные, часто двухэтажные, крыши тесовые. Около каждой избы на заборе или на березке стоит скворечня, и так низко, что до нее можно рукой достать. Скворцы здесь пользуются общєю любовью, и их даже кошки не трогают. Садов нет.

Часов в пять утра, после морозной ночи и утомительной езды, я сижу в избе вольного ямщика, в горнице, и пью чай. Горница — это светлая, просторная комната, с обстановкой, о какой нашему курскому или московскому мужику можно только мечтать. Чистота удивительная: ни соринки, ни пятнышка. Стены белые, полы непременно деревянные, крашенные или покрытые цветными холщовыми постилками; два стола, диван, стулья, шкаф с посудой, на окнах горшки с цветами. В углу стоит кровать, на ней целая гора из пуховиков и подушек в красных наволочках; чтобы взобраться на эту гору, надо подставлять стул, а ляжешь — утонешь. Сибиряки любят мягко спать.

От образа в углу тянутся по обе стороны лубочные картины; тут портрет государя, непременно в нескольких экземплярах, Георгий Победоносец, «Европейские государи», среди которых очутился почему-то и шах персидский, затем изображения святых с латинскими и немецкими подписями, поясной портрет Баттенберга, Скобелева, опять святые... На украшение стен идут и конфетные бумажки, и водочные ярлыки, и этикетки из-под папирос, и эта бедность совсем не вяжется с солидной постелью и крашеными полами. Но что делать? Спрос на художество здесь большой, но бог не дает художников. Посмотрите на дверь, на которой нарисовано дерево с синими и красными цветами и с какими-то птицами, похожими больше на рыб, чем на птиц; дерево это растет из вазы, и по этой вазе видно, что рисовал его европеец, то есть ссыльный; ссыльный же малевал и круг на потолке и узоры на печке. Немудрая живопись, но здешнему крестьянину и она не под силу. Девять месяцев не снимает он рукавиц и не распрямляет пальцев; то мороз в сорок градусов, то луга на двадцать верст затопило, а придет короткое лето — спина болит от работы и тянутся жилы. Когда уж тут рисовать? Оттого, что круглый год ведет он жестокую борьбу с природой, он не живописец, не музыкант, не певец. По деревне вы редко услышите гармонику и не ждите, чтоб ямщик затянул песню.

Дверь отворена, и сквозь сени видна другая комната, светлая и с деревянными полами. Там кипит работа. Хозяйка, женщина лет 25, высокая, худощавая, с добрым, кротким лицом, месит на столе тесто; утреннее солнце бьет ей в глаза, в грудь, в руки, и кажется, она замешивает тесто с солнечным светом; хозяйская сестра-девушка печет блины, стряпка обваривает кипятком только что зарезанного поросенка, хозяин катает из шерсти валенки. Ничего не делают только старики. Бабушка сидит на печке свесив ноги, стонет и охает; дедушка лежит на полатах и кашляет, но, заметив меня, сползает вниз и идет через сени в горницу. Ему хочется поговорить... Начинает он с того, что весна теперь холодная, какой давно не было. Помилуйте, завтра Николин день, послезавтра Вознесенье, а ночью шел снег, и по дороге к селу замерзла какая-то женщина; скот тощает от бескормицы, у телят от морозов понос... Потом он спрашивает меня, откуда я, куда бегу и зачем, женат ли я, и правду ли говорят бабы, что скоро будет война.

Слышится детский плач. Теперь только я замечаю, что между кроватью и печью висит маленькая люлька. Хозяйка бросает тесто и бежит в горницу.

— Однако какой у нас случай, купец! — говорит она мне, качая люльку и кротко улыбаясь. — Месяца два назад приехала к нам из Омска мещанка с ребеночком... Барыней одета, однако... Ребеночка она родила в Тюкалинске, там и крестила; после родов-то в дороге разнемоглась и стала жить у нас вот в этой горнице. Говорит, что замужня, а кто ее знает? На лице не написано, а паспорта при ней нет. Может, ребеночек незаконный...

— Не наше дело судить, — бормочет дедушка.

— Прожила она у нас неделю, — продолжает хозяйка, — потом и говорит: «Я поеду в Омск к мужу, а мой Саша пусть у вас останется; я за ним через неделю приеду. Теперь боюсь, как бы не замерз дорогой...» Я ей и говорю: «Послушай, сударыня, Бог посылает людям детей, кому десять, кому и двенадцать, а меня с хозяином наказал, ни одного не дал; оставь нам своего Сашу, мы его себе в сы-

ночки возьмем». Она подумала и говорит: «Однако погодите, я мужа своего спрошу и через неделю вам письмо пришлю. Без мужа не смею». Оставила нам Сашу и уехала. И вот уж два месяца прошло, а она ни сама не едет, ни письма не шлет. Наказание господне. Полюбили мы Сашу, как родного, а сами теперь не знаем, наш он или чужой.

— Надо вам этой мещанке письмо написать, — советую я.

— Стало быть, надо! — говорит из сеней хозяин.

Он входит в горницу и молча смотрит на меня: не дам ли я еще какого-нибудь совета?

— Да как ты ей напишешь? — говорит хозяйка. — Фамилии своей она нам не сказывала. Марья Петровна — вот и все. А Омск, тоже сказать, город большой, не найдешь ее там. Ищи ветра в поле!

— Стало быть, не найдешь! — соглашается хозяин и смотрит на меня так, как будто хочет сказать: «Помоги же, бога ради!»

— Привыкли мы к Саше, — говорит хозяйка, давая ребенку соску. — Закричит днем или ночью, и на сердце иначе станет, словно и изба у нас другая. А вот, не ровен час, вернется та и возьмет от нас...

Глаза хозяйки краснеют, наливаются слезами, и она быстро выходит из горницы. Хозяин кивает ей вслед, усмехается и говорит:

— Привыкла... Известно, жалко!

Он и сам привык, ему тоже жалко, но он мужчина, и сознаться ему в этом неловко.

Какие хорошие люди! Пока я пью чай и слушаю про Сашу, мои вещи лежат на дворе, в возке. На вопрос, не украдут ли их, мне отвечают с улыбкой:

— Кому же тут красть? У нас и ночью не крадут.

И в самом деле, по всему тракту не слышно, чтоб у проезжего что-нибудь украли. Нравы здесь в этом отношении чудесные, традиции добрые. Я глубоко убежден, что если бы я обронил в возке деньги, то нашедший их вольный ямщик возвратил бы мне их, не заглянув даже в бумажник. На поч-

товых я ездил мало и про почтовых ямщиков могу сказать только одно: в жалобных книгах, которые я читал от скуки на станциях, мне попалась на глаза только одна жалоба на покражу: у проезжего пропал мешочек с сапогами, но и эта жалоба, что видно из резолюции почтового начальства, оставлена без последствий, так как мешочек был скоро найден и возвращен проезжему. О грабежах на дороге здесь не принято даже говорить. Не слышно про них. А встречные бродяги, которыми меня так пугали, когда я ехал сюда, здесь так же страшны для проезжего, как зайцы и утки.

К чаю мне подают блинов из пшеничной муки, пирогов с творогом и яйцами, оладий, сдобных калачей. Блины тонкие, жирные, а калачи вкусом и видом напоминают те желтые, ноздреватые бублики, которые в Таганроге и в Ростове-на-Дону хохлы продают на базарах. Хлеб везде по сибирскому тракту пекут вкуснейший; пекут его ежедневно и в большом количестве. Пшеничная мука здесь дешевая: 30–40 коп. за пуд.

На одном хлебе сыт не будешь. Если в полдень попросишь чего-нибудь вареного, то везде предлагают одной только «утячьей похлебки» и больше ничего. А эту похлебку есть нельзя: мутная жидкость, в которой плавают кусочки дикой утки и потроха, не совсем очищенные от содержимого. Невкусно, и смотреть тошно. В каждой избе — дичина. В Сибири никаких охотничьих законов не знают и стреляют птиц в продолжение всего года. Но едва ли здесь скоро истребят дичь. На расстоянии 1500 верст от Тюмени до Томска дичи много, но не найдется ни одного порядочного ружья, и из ста охотников только один умеет стрелять влет. Обыкновенно охотник ползет к уткам на животе, по кочкам и мокрой траве, и стреляет только из-за куста, в 20–30 шагах в сидячую, причем его поганое ружье раз пять дает осечку, а выстрелив, сильно отдает в плечо и в щеку; если удастся попасть в цель, то тоже не малое горе: снимай сапоги и шаровары и полезай в холодную воду. Охотничьих собак здесь нет.

*9-го мая.*

## IV

Подул холодный, резкий ветер, начались дожди, которые идут день и ночь не переставая. В 18 верстах от Иртыша мужик Федор Павлович, к которому привез меня вольный ямщик, говорит, что дальше ехать нельзя, так как от дождей по берегу Иртыша затопило луга; вчера из Пустынского приехал Кузьма, так он едва лошадей не утопил; надо ждать.

— А до каких пор ждать? — спрашиваю.

— А кто ж его знает? Спроси у Бога.

Иду в избу. Там в горнице сидит старик в красной рубахе, тяжело дышит и кашляет. Я даю ему доверов порошок — полегчало, но он в медицину не верит и говорит, что ему стало легче оттого, что он «отсиделся».

Сижу и думаю: остаться ночевать? Но ведь всю ночь будет кашлять этот дед, пожалуй, есть клопы, да и кто поручится, что завтра вода не разольется еще шире? Нет, уж лучше ехать!

— Поедем, Федор Павлович! — говорю я хозяину. — Не стану я ждать.

— Это как вам угодно, — кротко соглашается он. — Только бы нам в воде не ночевать.

Едем. Дождь не идет, а, как говорится, лупит во всю мочь; тарантас же у меня не крытый. Первые верст восемь проезжаем по грязной дороге, но все-таки рысью.

— Ну, погода! — говорит Федор Павлович. — Признаться, сам я давно там не был, не видел разлива, да вот Кузьма напугал. Может, бог даст, и проедем.

Но вот перед глазами расстилается широкое озеро. Это затопленные луга. Ветер гуляет по нем, шумит и поднимает зыбь. То там, то сям видны островки и еще не залитые полосы земли. Направление дороги указывают мосты и гати, которые размокли, раскисли и почти все сдвинуты с места. Вдали за озером тянется высокий берег Иртыша, бурый и угрюмый, а над ним нависли тяжелые, серые облака; кое-где по берегу белеет снег.

Начинаем ехать по озеру. Неглубоко, колеса сидят в воде только на четверть аршина. Ехать, пожалуй, было бы сносно, если бы не мосты. Около каждого моста нужно вылезть из тарантаса и становиться в грязь или в воду; чтобы въехать на мост, нужно сначала к его приподнятому краю положить доски и бревна, которые разбросаны тут же на мосту. Лошадей по мосту водим поодиночке. Федор Павлович отпрягает пристяжных и дает мне держать; я держу их за холодные, грязные поводья, а они, норовистые, пятятся назад, ветер хочет сорвать с меня одежду, дождь больно бьет в лицо. Не вернуться ли? Но Федор Павлович молчит и, вероятно, ждет, когда я сам предложу вернуться; я тоже молчу.

Берем приступом один мост, другой, потом третий... В одном месте увязли в грязь и едва не опрокинулись, в другом заупрямились лошади, а утки и чайки носятся над нами и точно смеются. По лицу Федора Павловича, по неторопливым движениям, по его молчанию вижу, что он не впервые так бьется, что бывает и хуже, и что давно-давно уже привык он к невылазной грязи, воде, холодному дождю. Недешево достается ему жизнь!

Въезжаем на островок. Тут избушка без крыши; по мокрому навозу ходят две мокрые лошади. На зов Федора Павловича из избушки выходит бородатый мужик с длинной хворостиной и берется показать нам дорогу. Он молча идет вперед, измеряет хворостиной глубину и пробует грунт, а мы за ним. Выводит он нас на длинную, узкую полосу, которую называет хребтом; мы должны ехать по этому хребту, а когда он кончится, взять влево, потом вправо и въехать на другой хребет, который тянется до самого перевоза.

Темнеет в воздухе; нет уж ни уток, ни чаек. Бородатый мужик научил нас, как ехать, и давно уж вернулся. Кончился первый хребет, опять полощемся в воде, берем влево, потом вправо. Но вот наконец и второй хребет. Он тянется по самому краю берега.

Иртыш широк. Если Ермак переплывал его во время разлива, то он утонул бы и без кольчуги. Тот берег высок, крут и совершенно пустынен. Видна лощина; в этой лощи-

не, как говорит Федор Павлович, идет дорога на гору, в село Пустынное, куда мне нужно ехать. Этот же берег отлогий, на аршин выше уровня; он гол, изгрызен и склизок на вид; мутные валы с белыми гребнями со злобой хлещут по нем и тотчас же отскакивают назад, точно им гадко прикасаться к этому неуклюжему, осклизлому берегу, на котором, судя по виду, могут жить одни только жабы и души больших грешников. Иртыш не шумит и не ревет, а похоже на то, как будто он стучит у себя на дне по гробам. Проклятое впечатление!

Подъезжаем к избе, где живут перевозчики. Выходит один и говорит, что плыть на ту сторону нельзя, мешает непогода, что нужно ждать утра.

Остаюсь ночевать. Всю ночь слушаю, как храпят перевозчики и мой возница, как в окна стучит дождь и ревет ветер, как сердитый Иртыш стучит по гробам... Ранним утром иду к реке; дождь продолжает идти, ветер же стал тише, но все-таки плыть на пароме нельзя. Меня переправляют на лодке.

Перевоз здесь держит артель из хозяев-крестьян; среди перевозчиков нет ни одного ссыльного, а все свои. Народ добрый, ласковый. Когда я, переплыв реку, взбираюсь на скользкую гору, чтобы выбраться на дорогу, где ждет меня лошадь, вслед мне желают и счастливого пути, и доброго здоровья, и успеха в делах... А Иртыш сердится...

*12-го мая.*

## V

Наказание с этим разливом! В Колывани мне не дают почтовых лошадей; говорят, что по берегу Оби затопило луга, нельзя ехать. Задержали даже почту и ждут насчет ее особого распоряжения.

Станционный писарь советует мне ехать на вольных в какой-то Вьюн, а оттуда в Красный Яр; из Красного Яра

меня повезут верст 12 на лодке в Дубровино, и там уж мне дадут почтовых лошадей. Так и делаю: еду во Вьюн, потом в Красный Яр... Привозят меня к мужику Андрею, у которого есть лодка.

— Есть лодка, есть! — говорит Андрей, мужик лет 50, худощавый, с русой бородкой. — Есть лодка! Рано утром она повезла в Дубровино заседателя писаря и скоро будет назад. Вы подождите и пока чайку покушайте.

Пью чай, потом взбираюсь на гору из пуховиков и подушек... Просыпаюсь, спрашиваю про лодку — не вернулась еще. В горнице, чтоб не было холодно, бабы затопили печь и кстати, заодно, пекут хлеб. Горница нагрелась, и хлеб уж испекся, а лодки все еще нет.

— Парня ненадежного послали! — вздыхает хозяин, покачивая головой. — Неповоротливый, как баба, должно, ветра испугался и не едет. Ишь ведь какой ветер! Ты бы, барин, еще чайку покушал, что ли? Небось тоскливо тебе?

Дурачок, в изодранной сермяге и босой, вымокший на дожде, таскает в сени дрова и ведра с водой. Он то и дело заглядывает ко мне в горницу; покажет свою лохматую, нечесаную голову, быстро проговорит что-то, промычит, как теленок, — и назад. Кажется, что, глядя на его мокрое лицо и немигающие глаза и слушая его голос, скоро сам начнешь бредить.

После полудня к хозяину приезжает очень высокий и очень толстый мужик, с широким, бычьим затылком и с громадными кулаками, похожий на русского ожиревшего целовальника. Зовут его Петром Петровичем. Живет он в соседнем селе и держит там с братом пятьдесят лошадей, возит вольных, поставляет на почтовую станцию тройки, землю пашет, скотом торгует, а теперь едет в Колывань по какому-то торговому делу.

— Вы из России? — спрашивает он меня.

— Из России.

— Ни разу не был. У нас тут, кто в Томск съездил, тот уж и нос дерет, словно весь свет объездил. А вот скоро, пишут в газетах, к нам железную дорогу проведут. Скажите, госпо-